

Мастерская принадлежала конторе Совдизайна, за неё и работал полтора дня в неделю. Хотя и полуподвал, но сухой, да и часы солнца выпадали. Вечерами людей в мастерской под завязку, с шести вечера дизайн отдыхает, вход в берлогу свободный, — гуляй, рванина. Пили, пели, картины новые приносили, рисовали на спор, кто девок приволакивал, кто — поэтов, кто — бардов. Флейты, свечи танцы — дым коромыслом. И кого тут только не было! Место центровое, без стукачей не обойтись. Да и плевать. Ему нравились сборища, и шум не мешал. Сам в углу с карандашом сидел, лица набрасывал, только выпить к столу подходил — и снова за рисунок.

Без работы жить не умел. Однажды на 15 суток загремел по случайной драке, так не знал, куда руки деть, но предложил парадный портрет начальника легавки написать — и две недели у мольберта провёл, пока не осточертело смотреть на кирпичную рожу. Увеличил глазницы, да и понавписал туда шариков со зрачками — модернист я, дескать, с меня взятки гладки. Начальник посинел от гнева, едва выкрикнул: «В карцере сгною!» Может, и сгноил бы, да срок вышел. Портрет над дверью в берлогу с неделю провисел, пока пугливые дизайнеры не сняли обзевшего от всевидения милиционера.

Женщина к нему прибилась, актриса областная, — лёгкая, танцевать любила. Он её танец вихрем писал, во вращении цветных пятнен, старался, чтобы движение не запечатлевалось, не остывало, а длилось бесконечно, сколько взгляд держался. А она уставала быстро, доверчиво опускалась к нему, ластилась. Так и жили они на его случайные заказы в нищете и пирах, как и собратья его по ремеслу, не признаваемые властями, ютившиеся в те годы по своим мастерским — чердакам, да подвалам, — отыскивая в сочетаниях красок то, что стоило их мытарств.

Она любила делать ему подарки, всегда находя где-то забавные безделушки, мыла кисти и шпатели, выбрасывала испачканную ветошь, скребла и мела,

придавая мастерской вид обитаемого жилища, — и никогда не попрекала тем пёстрым бедламом, в котором протекала их любовь. Мужик он был рослый, она хохотала, взбираясь по нему, кричала: «Лель, я как по дереву!»

А он, и впрямь, лесной, дремучий — отец егерем служил в заповеднике, там и вырос. Она ему Масик была, а он ей — Лель, это потом уже все их так называть стали. Плодом драным её прикрывал, на колени клал, баюкал. Не ребёнок, не жена — просто любовь, просто Масик. Им было весело друг с другом, она умела шалить, мешать ему работать так, что ему это нравилось. В отъезды её он тосковал, набрасывал родные черты, каждый раз открывая что-то неожиданное, и тогда казалось, что она рядом. Но никогда не писал её обнажённой, не позволял открыть её наготу, которую помнил до мельчайших изгибов и теней, — не только другим, но и самому себе.

Когда наброски оказалось всё труднее распахивать по папкам и углам, он решил писать её портрет, но вскоре почувствовал, что не справляется. И позы ей ставил разные, и свет, и интерьер, даже припрятанный драгоценный холст для неё загрунтовал — нет, не она. Казалось бы, Масик, простая душа, чего не написать — с его школой, с его прочным рисунком — а главного в ней не ухватывал. Масик увлеклась своим портретом, заботилась о нём, сидела старательно, как трудно ни посадит, дышала тихо. Но, сколько ни прописывал он картину, в каких неожиданных комбинациях ни смешивал краски на палитре, сколько этюдов ни готовил, выписывая руки и лицо в разных ракурсах, — не давалась ему Масик, пока однажды не промелькнуло что-то внезапное во взоре её и случайном обороте головы. Он поймал и, едва не задохнувшись, бросился к древнему комоду, выхватил из старья лиловый бархат, служивший когда-то скатертью.

Рывком стянул с Масика свитерок, распустил локоны — и задрапировал её в это лиловое так, чтобы дыры не мешали. Будто вспыхнуло что-то в Масике — неизвестное ему, высокое, чужое. «Какая ты, однако, — подумал. — Совсем не та, что со мной». И вспомнил её неожиданный непреклонный жест, которым она вечером остановила закипавшую драку.

— Вот что, Масик! — воскликнул, распуская на ней складками лиловую скатерть. — Королевой писать тебя надо!

— Окстись, Лель, какой королевой? Я еврейка почти.

— Ну, значит, еврейской. У них вообще национальности нет, у королев. Ты помолчи, Масик, я станок поправлю.

Народа вокруг полно, а тех, первых, перед кем покрывало с новых холстов снимал, всего двое у него и было — разные во всём до мордобоя, но оба — высокой пробы мастера. Оба портретисты, один — известный, лауреат, блестящий колорист, писавший натуру, какой она хотела видеть себя, другой — бедолага, писавший то, как видел натуру он. Дружили давно, с одним по Академии, с другим — по детству, только им и верил, а пришлось ли им вещь, по лицам видел, без слов.



Был ещё Жан, нужный человек, бельгийский атташе по культуре. Картины подпольных художников пересылал на Запад с диппочтой, иногда сам покупал. Времена такие счастливые настали, их потом обозвали застоем, когда попускали власти искусства, не сажали, попугивали просто, потому что и сами вздохнуть захотели — хотя и в меру, знаете, в меру...

А Жан, получив аккредитацию, разъезжал по Москве, как в юности по Парижу и Лондону, ныряя в тот же любимый андеграунд и никогда не минуя берлогу Леля.

Лель с нужными людьми дружить не умел, а этот Жан ему нравился. Маленький, а дерзкий, от гэбэшных машин по Москве уходил, как родной шоферюга. Перевернулись однажды, так та же наружка фольксваген их, «жучок», из сугробов вытаскивала. «Напрасно, — сказали, — бегаете от нас, ребята. Всё равно всё про вас знаем».

Но и доверенным своим людям не показал Лель портрет, хотя уже и холст подписал. Получилось яркое полотно — женщина в лиловом в четверть оборота, в гамме золотых оттенков — сочетание жанра с парадным портретом. Но оставалось в простом и любимом облике Масика то, чему он не знал ни имени, ни красок. Исправлять начал, но опомнился быстро, понимал, что, придумывая, только загубит всё.

Так и стоял портрет открытым на станке, — в неотступном ожидании.

Дни пропадали, работать не мог, даже телефон включил. А он и зазвони в руках. Сказали, что убили его Масика. Ножом пырнули на пустом полустанке, в паре сотен вёрст от Москвы, где Россия начинается, куда она к матери ездила. Убили и сумочку взяли. «Сумочку, — повторил, не понимая, что услышал. — Зачем сумочку?» Ни денег, ни ценностей отродясь не бывало в её сумочке, разве что смешной стеклянный бегемотик завалится за рваную подкладку.

Схоронил он Масика на кладбище сельском, простом, где последования ещё помнили и пели. До девяти с чужими людьми пил, на луну выходил, в траву закатывался от боли — словно сердцевину из него вырезали. Не уберёт он Масика, как ему теперь, зачем? А вернулся, — сразу к холсту.

Только в смерти открылась ему Масик, потому что только смерть открывает те черты, которые освещают ушедшую жизнь. Они остались в памяти его рук, которые обмывали любимое лицо, а теперь нанесли их на холст, отчего изображение странно изменилось. Лель ощутил в портрете втягивающую анфиладную глубину, испугался и забегал с ним по мастерской, меняя освещение. Но что случилось с портретом, понять не смог.

Написал — и устыдился своего восторга, который взмывает в создателе, минуя чувства его и честь. Помечталось Лелю, подумалось страшно, что убил Масика он сам, этим портретом и убил, покусившись раскрыть Божий замысел о своём создании, а случайный удар ножа просто обозначил точкой её уход.

Но это она водила его кистью, она бредила этим портретом, она так страстно хотела обитать в облике, составлявшем её существо. И, наверное, портрет удался, раз она погибла. Но как теперь? Ему стало вдруг тесно в своей берлоге, он начал задыхаться, рванул ворот и понял, что так же тесно было и Масику, и любви её, а теперь и портрету в никчёмной суете, замкнутой сводами полуподвала. Лель стороне удивился, что такое изображение могло возникнуть здесь, в берлоге, будучи очевидно больше всего, что он умел и сделал, неизмеримо больше него мастера. В простых чертах Масика сквозило то величие, которое и шарик со снежинками, сжатый в её опущенной руке, заставляло воспринимать, как державу, укротившую хаос. Она была обращена к миру, которым владела, ему соразмерна, и только ему принадлежала. Помаявшись, Лель допил водку — и закрасил свою подпись.

Дизайнеры, честно явившиеся на службу, обнаружили Леля простёртым на полу, но входить в мастерскую не решились, покачав головами в дверях. К вечеру пришли друзья и перетащили тяжёлое тело на тахту, где Лель очнулся и потребовал выпивку. Друзья охотно составили компанию, а потом сняли накидку с портрета — и застыли.

Треск электрического разряда от троллейбусных дуг донёсся до берлоги через два переулка. Первым оправился лауреат, воскликнув хрипло: «Императрица! Мария Фёдоровна!» — «Просто Масик», — возразил неудачник.

Людей набилось, как всегда, а пили тихо, словно на поминках, хотя о гибели Масика никто и не знал. Леля укрыли пледом и оставили в покое. Молча подошли к холсту, за весь вечер лишь парой фраз о картине и обменялись:

— Эй, лауреат, нолито!

— Не мешай, формалюга. Тут понять надо.

— Дурак ты, лауреат. Тут не понимать, тут внимать надо.

Другим днём заехал Жан. Аристократ, выходец из давно отошедшего колена королевского рода, Жан оказался выходцем в самом прямом смысле, поскольку пятнадцати лет сбежал из семейного замка и проболтался юные годы, пришедшиеся на сексуальную революцию, по мастерским художников и хипповым тузовкам. Писал и сам, учась у кого подвернётся, вынеся из обучений ясное представление о своих скромных способностях. Почему и поступил в университет на искусствоведение. Отец, принявший блудного, но остепенившегося сына, подобрал ему и наставника — советника английской королевы по изобразительному искусству, сэра Энтони. Жан вскоре от советника отошёл, не разделяя его наклонностей, но отношения сохранил добрые, почему и был представлен им английскому двору, и регулярно приглашался на ежегодные приёмы в Букингемский дворец.

Найдя Леля в беспмятном сне, Жан запер дверь в берлогу, всегда стоявшую нараспашку, снял накидку с портрета и оцепенел.

Он узнал на холсте перед собой королеву Елизавету, сияющую красотой молодости и любви, в те годы, которых он не застал. Нечто неизмеримое излучалось этим портретом, как высокий звук, чьё присутствие, ощущаемое человеком, неуловимо его слухом. Но то, что перед ним небывалый шедевр, он оценил мгновенно, как и то, что его необходимо срочно вывезти из этой страны, из этого запертого от мира угрюмого каземата.

Жан хотел оставить записку: «Лель, портрет у меня, не беспокойся», но не успел её дописать. В дверь отчаянно ломились служаки из наружки, потерявшие клиента. Жан сунул записку в карман, замотал картину в простыню и со всей доступной ему надменностью продефилировал с ней мимо знакомых топтунов.

Когда Лель пришёл в себя, портрета не было. Он исчез так же внезапно и безжалостно, как исчезла сама Масик. Она не захотела оставаться с ним — ни в жизни его, ни в создании. Лель добрался до тумбочки, хранившей несколько непечатых бутылок водки, и приложился к началу беспамятного пути, из которого уже никогда не очнулся.

Жан получил новое назначение и спешно покинул Россию. Он переслал в Бельгию портрет, высоко оценённый советником, и преподнёс его королеве Елизавете, любезно осведомившейся о мастере.

Вскоре, на неожиданно пожалованной частной аудиенции, королева напомнила Жану о подарке. «Я провожу перед картиной больше времени, чем позволяют мои обязанности. Это магия великого создания. Портрет не отпускает меня. Хотела бы я быть на него похожей!» — «Это вы и есть, Ваше Величество». — «Но ведь она умерла, натурщица? Скажите правду, я это чувствую». — «Не знаю», — ответил Жан.

А потом, по дороге домой, подумал, что теперь-то натурщица точно никогда не умрёт, хотя никто о ней и не узнает. И вспомнил её любовное детское прозвище, смешно звучавшее для русских в его устах: Масик.